

Наконец опять отпуск. Отпуск мой не в Гуляй-поле, не в Чистополе, не в Крыжополе — в Созополе!

Глянул утром с балкона гостиницы на море — лежит оно ласковое, изумрудное, шепчущее, а над ним *неба синий шелк, никогда не было так хорошо!* А вчера *море на всем побережье плясало поэму балконов. И смоковница терлась о ветер.* Кажется, Владимир Владимирович и Федерико Федерикович* именно здесь набирались вдохновения — где теперь пребывает Александр Александрович...

И решил Сан Саныч посмотреть свое излюбленное местечко — где он когда-то, семь лет назад, отдыхал, небольшой полуостров, мыс, сложенный из черных обкатанных морем базальтов. Место малолюдное, расположенное за нудистским пляжем, привлекательное возможностью тихого одиночества и созерцания глыбных образов, созданных природой, запечатления их в цифровой записи. Отправился в поход верхними улицами Ропотамо и Виа Понтика, проходя мимо выросших роскошных домов с бассейнами во дворах и надписями на узорчатых изгородях: «ВЛИЗАНЕТО СТРОГО ЗАБРАНЕНО. ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ».

Но пройти на мыс оказалось проблематичным. Прежняя дорога вдруг оказалась пересеченной железной изгородью с воротцами, застегнутыми на проволочку. За изгородью был замусоренный пустырь, дальше виднелся второй забор, тоже с калиткой и без замка и охраны. Вдали слева был виден дворец. Но дворец-то не интересовал — хотелось увидеть скалы.

Пройдя через условные преграды, отвязав проволочки, Сан Саныч пересек оба пустыря и достиг стороны, откуда через забор уже можно было, хоть издали, увидеть родные скалы, шелкнуть камерой.

И тут... раздался гром. Не гром — громоподобный лай. Обернулся Сан Саныч, а перед ним огромный псина, с полбыка. Делает угрожающие прыжки к носу, рвет землю, лай и рык слились в один сплошной лайк со знаком минус.

Сан Саныч не испугался, нет. Он прекрасно знал, что пугаться бесполезно. Надо застыть, смотреть прямо в глаза, пусть зверь поймет, что его не страшатся. Надо дать ему понять, что он никакого значения в моей жизни не имеет. Ждать, когда пес обрушится. Сразу не обрушился, значит уже не обрушится. Его задача — страшить, задача натасканная. И невыполнимая, пусть он это поймет. А если уж сдуру обрушится, есть выход — схватить тварь за язык. Сан Саныч когда-то читал, что так женщина в Мордовии притащила волка домой, и его забили кольями.

* Это русифицированный вариант именования. Федерико Гарсиа Лорка, согласно испанским правилам, унаследовал от отца часть его фамилии — Гарсиа, но имя отца тоже было Федерико. (Примечание автора.)

Но вот спешно появился хозяин. Пса малость осадил, незваному гостю что-то стал сердито выговаривать. По-болгарски. Сан Саныч ему по-русски: «Извините, я здесь раньше на скалах отдыхал, захотелось взглянуть». Бесполезно. Беспрекословный жест был направлен за пределы пустыря. Лицо каменное, ни тени улыбки.

Ни тени улыбки!.. Хотя улыбка должна быть вообще иной — ни света улыбки! Но люди все больше привыкают жить без улыбок.

Вечером Сан Санычу рассказали, что полуостров купил русский, скалы наполовину засыпал землей, чтобы участок стал шире, охранник-болгарин наемный.

И вспомнил Сан Саныч, как утром он глядел с балкона своего номера гостиницы, нависшего над морем. Берег под гостиницей скалистый, ломаный, глазу привлекательный, ногам неудобный. Зато удобный чайкам. Одна села на выступ, к ней подлетела другая, пыталась сесть рядом — была изгнана, крыльями и клювом. На скале висели таблички-кенотафы с фамилиями погибших здесь мужчин. Таблички «Частная собственность» не было.

МОЙ ГАЙДАР

С Егором Гайдаром я не был знаком, но прикоснуться довелось.

Находился я какое-то время в Звенигороде, и тут узнаю, что рядом, в селе Дунино, жил Пришвин, сейчас там дом-музей. Пришвина я уважал и решил посмотреть. Пробрался лесом в деревню, несколько км шел через сосняк, стозвонный и корабельный, разбитый на частные гектары с дворцами нуворишей, над высокими стенами с черными железными пиками виднелись только верхи достижений, шел в длинные обходы стен, и вот оно, Дунино. А там тоже не деревня, а сплошной новострой, вместо изб — коттеджи, коттеджи... Надо кого-то спросить, где музей, а некого, людей на улице ноль. Вижу, дом-дворец достраивается, он под горкой, а до него всякие другие модные детали — дорожки фигурные керамические извиваются, при въезде в эту краснокирпичную, почти монастырскую ограду домик охраны готовенький, но еще пустой, стоит, людишки шевелятся. Я — во двор, к людям: как пройти к Пришвину? Да вот, через три дома. Уф, добрался!

В музейном свайном деревянном доме побеседовал со служителями — двумя девушками, научными работниками, готовившими публикацию дневников Пришвина. Несколько томов уже вышло, кажется, 4, а всех, кажется, 18. Труд колоссальный, конспирологический. В бумагах много неразборчивых записей (они в томах так и обозначены — *нрзб*), хранилось это много лет в земле, в закопанных ящиках, такая была эпоха — надо было таить. Я попросил девушек дать мне какие-либо высказывания Пришвина о Пушкине, близилось 200-летие поэта, я готовил выпуск альманаха «Литературный Зеленоград», хотелось что-то новенькое, приуроченное засветить, проюбилеить. Девушки пообещали подготовить, потом прислали, и Пришвин о Пушкине, неопубликованное из дневников 1932—1951, подготовленное Лилией Александровной Рязановой, впервые вышло в ЛЗ-1999.

Задал я девушкам вопрос и о строящемся доме, куда во двор заходил. «Да это же дом Егора Тимуровича Гайдара!» — ответ. Бровь моя поползла к виску: «Как? Почему?» — «Да Егорушка здесь отдыхал в детстве, в пионерлагере. Видать, место понравилось, запомнилось, вот и решил».

Между прочим, было это вскоре после дефолта. Идя к Пришвину, еще по лесу, я на минутку задержался у выезда из одного из многогектарных скитов, у глубокого очистного котлована, из-за угла забора, имея опыт скрытности и неразговорчивости, спросил рабочего (он, к счастью, был здесь один), откуда он, сын трудового народа? «Из Десногорска». — «Да? Так мы ж земляки, я там на Смоленской АЭС был, там шурин мой зубы людям лечил... И что вас бросило сюда?» — «Хорошо платят, точ-

не, платили. А в Десногорске работы нет». — «А что там во дворе происходит? Стопились люди, вроде разборка какая-то, руками машут...». Мой визави, осмотревшись по сторонам, понизив голос, доверительно, глядя в котлован: «Хозяин приехал. Нам стали платить меньше. Дефолт. Люди недовольны». — «А фамилия хозяина?» — «Сами не знаем, нам не говорят»...

Итак, с Пришвиным я познакомился, портфель его кожаный потрепанный вкусно осмотрел, а вот Гайдара не видел. Но фамилию его здесь в секрете не держали.

И вспомнился мне один документ, который я держал в своих руках и где-то в архиве храню. Собственно, документов было, и есть, два. На одном — решение профкома Института марксизма-ленинизма о выделении научному сотруднику Гайдару Е. Т. на летнее время дачи на Пахре. Второй — решение профкома о постановке Гайдара Е. Т. в очередь на автомобиль «Москвич». Попали эти бумаги ко мне случайно — после того как здание Института марксизма-ленинизма заняло Дворянское Собрание — произошла смена дворянства.

Жаль, Егорушка в новом доме прожил мало.

ВИРУС НЕЗАЛЕЖНОСТИ НЕ ЗАЛЕЖИВАЕТСЯ

Фамилию этого человека называть не буду, достаточно сказать, что она очень украинская и близкая к слову огонь. Ему 84, несколько лет назад переехал из Киева в Москву к дочери, еще шустр, внуки взрослые, самостоятельные, зять подполковник, бывший винницкий бравоый парубок, много лет живет в Москве, служит российской обороне. Сам этот пожилой новообращенный москвич (или москаль?) технарь, в Киеве служил чиновником. Но пописывал. Юморески разные, типа народных басенок, несколько автобио книжек, изданных домашне. Басенки писаны мовой, на русский лучше не переводить — без колорита украинского языка от юмора ничего не останется. Из других книжек одна, о ранней поре жизни, написана по-русски, вторая — по-украински. То есть писатель двуликий — в хорошем смысле этого слова, а чтобы меня поняли правильно — скажу, двуязычный. Один его очерк я отдал знакомому редактору литературного журнала, он напечатал, по этому случаю встретились, сидим, толкуем малость кое о чем.

И вдруг он меня спрашивает: а что, ежели (так и сказал: «ежели» — совсем не по-киевски) он напишет про Матерь Владимирскую — напечатают? История такая: эта икона, святыня России, по преданию написанная евангелистом Лукой, была подарена монастырю в Вышгороде, что под Киевом, потом князь Андрей Боголюбский перевез ее во Владимир. «Получается... что украл?.. — осторожно, глядя на мою реакцию, пояснил мой собеседник. — Стоит писать? Напечатают?»

— Писать надо обо всем, что волнует, — ответил я. — Печатать тоже можно все — цензура отменена. За свой счет — в любой типографской забегаловке. Но вы хотите не за свой счет, в журнале. Редактор этого журнала, издающегося в России, давшей вам приют, вряд ли напечатает — идеяка ваша дурно пахнет, а редактор все же слышал, наверное, о статье Конституции, запрещающей разжигание розни.

— Но я только процитирую исторический документ — летопись...

— Вы еще не процитировали мне летопись, а уже вынесли приговор — «украл». Этот приговор прямо сочтется из вашего замысла. Но ваш замысел — не святой источник. Вы хотите плеснуть свой стаканчик бензина в полыхающее пламя вражды между нашими народами? Вы уверены, что этот русский князь, единоличный правитель в своем Вышгороде, не имел права перенести икону в другое свое княжество? Скажите, он у кого «украл»? У самого себя? Но так не бывает. Тогда ведь церковь не была отделена от государства, все находящееся под дланью князя было в его распоряжении. Сейчас вот церковь отделена, а ваш киевский политический временщик,

фамилия которого происходит то ли от слова «порох» (продукт, требующий особо осторожного обращения), то ли от слова «поросенок» (которым обычно характеризуют стиль поведения), то ли от слова «параша» (концентрат нечистот, символ уголовщины) — ваш временщик пишет письмо константинопольскому патриарху с просьбой разделить церкви,— какого черта он сует свое свиньячье рыло в божьи дела?.. Очень странный у вас замысел... Вы же не просто переписываете чью-то фразу, а имея некий генеральный замысел, без чего не бывает писательского творчества. В чем он, этот замысел? В том, что святыня москалей — краденая? И, дескать, не пора ли потребовать ее возвращения?..

...А недолго до этого, прошел всего месяц, у меня был похожий по перекосяк слушай. Я отдыхал в Болгарии, жил на берегу моря в одной гостинице и купался в одном заливице с подполковником армии укропских ублюдков, палачей моей шахтерской родины, женщиной жесткой. И тело у нее было деревянное, и взгляд из гранита. Поселившись, она тут же вывесила на балконе жовто-блакитный флаг, будто это не гостиница, а ее киевский штаб, и будто здесь не пляж, а плац. Хозяин гостиницы заметил ей, что делать такой выброс а-ля «слава Украине, героям слава» крайне нежелательно, и она убрала...

...А насчет Матери Владимирской, то не противилась она путешествию в далекий от Вышгорода северо-восточный край, не остановила коней в земле околкиевской, а встали кони как вкопанные в земле Владимиро-Суздальской, где князь Андрей, позже прозванный Боголюбским, получил повеление построить храм, что он исполнил и совершил еще много славных, порой менее славных дел, и там же, в храме, кончил свои дни.

Утверждают, что зачарованные идеями фюрера немки кричали на берлинских площадях: «Хочу иметь ребенка от Гитлера!» Они были поражены вирусом «нехватки жизненного пространства». Этот вирус привел к поражению их зиганутой страны. Миллионы немцев получили жизненное пространство под березовыми крестами. Но сам вирус не погиб.

Зиганутые наперекосяк укропы уже заявили желание, чтобы мы им отдали Кубань — за переселение в этот благодатный край запорожских казаков. Почему бы им не потребовать, чтобы мы отдали им не только икону Владимирскую, но и основанный великим князем киевским Юрием Долгоруким — чего уж мелочиться — градец Москву?

14.10.2018 День Покрова Богородицы

P.S. О том, что вирус незалежности не залеживается и поражает все большее число душ в бывшей братской стране, свидетельствует и такое письмо, полученное мной на днях с Украины:

«...А вообще живем — словно «на земли чуждей». ...Поверите ли — родной дядя, хороший, в общем, человек, меня вдруг выдворил из дома, когда я несколько дней, будучи больна, гостила у него (ездила в Запорожье на лечение позвоночника; можно было не брать койку в больнице, а приезжать только на процедуры). Подумать только: мой родной, любимый и уважаемый дядя, сказал мне, что мой муж — враг Украины и что таких надо давить сапогом и прочее. Вот так. Откуда в нем эта ненависть? Убеждать в чем-то человека, которому за 60, было нелепо. Поэтому, извинившись, что не знала о таком расположении к нам (зачем сразу по моем приезде не сказал? я бы тогда погостила у подруги, например), я поехала к брату — еле-еле добралась, мне было очень плохо после процедур (шейные позвонки), кружилась голова и была сильная слабость. Теперь, наверное, уже не придется к нему ездить. И вообще, дядя мой — человек добрый, отзывчивый, — казалось, как к нему могло прилепиться гнусное убеждение, что члены одной семьи могут быть врагами друг другу? А

очень просто: ОН ДНЯМИ И НОЧАМИ СМОТРЕЛ ТЕЛЕВИЗОР! Спутника у него нет, только украинское ТВ...».

ЭКРАН ДЛЯ ОДНОГО ИЗ МИЛЛИОНОВ

Когда снимался фильм про моего брата, погибшего в 1942 под Сталинградом, оказалось, что мы с кинщиками (слово из говора на моей родине) во многом друг друга не понимаем. Я им дал основу для фильма — изложение фактов, в виде эссе, это уже почти сценарий, только не расписанный по кадрам. Но ведь дальше, казалось бы, дело техники.

Оказалось, не только техники. Оказалось, еще и дело фантазии. Фантазии так называемой художественной, густо перемешанной с реалиями документальными. Благо был бы я посторонний зритель, все принял бы как есть. Но я-то знаю, как на самом деле было, и фантазии режиссера часто шли поперек моего видения.

Во-первых, типаж. Мой брат был рус, даже светловолос. И округл лицом. Достаточно посмотреть на фотографию его 16-летнего, и на сыгравшего его актера-брюнета — небо и земля.

Мишу, как он идет по деревне, еще война не началась, и звонко поет, по воспоминаниям моих сестер, *«Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой»* (пели в нашей семье все, и красиво пели; а песня эта была из вышедшего тогда фильма про шахтеров, и пел Миша как будто про меня, хотя я еще только собирался родиться, а уж в степь донецкую ушел 14-ти лет),— представить могу, а вот этого парня, актера, склада современного, когда народное пение умерло и вымерло,— никак.

Это еще ладно. А вот девушку ему придумали, журналистку. Этого вообще не было! То есть была девушка в его поездной бригаде, кондуктор, они служили в одном депо, эвакуировали их вместе. Когда немецкая бомба вонзилась в Мишу и разнесла его по кровиночке, уцелела только голова, эта девушка взяла себе на память его ремень. Именно от нее семья узнала, уже после войны, как погиб Миша.

Неизвестно, то ли ремень после бомбы тоже чудом уцелел, вероятно, изрешеченный, то ли был еще запасной где-нибудь в раздевалке, это уже не узнать. Надо было девушку расспрашивать сразу, а не через 70 лет искать.

Кстати, странное выражение: «уцелела голова». Когда человек погибает, говорят о головушке пропащей, а тут — жизнь убита, а голова «уцелела». Один из парадоксов языка.

Режиссером была выдумана не только журналистка, но и переписка. Кучку фронтовых треугольников показывают в кадре. Их не было! Куда могли писать хоть журналистка Галя, хоть Миша, если семья находилась в оккупации?! В войну мы получали письма только после освобождения нашего края, только от отца, которому удалось дойти до Берлина.

А подвиг Миши, якобы совершенный и якобы рассказанный в фронтовой газете? Газету эту, с заметкой о подвиге старшего кондуктора Михаила Шерстюка, создатели фильма выполнили даже в натуре, дали экземпляр мне. Зачем? Храню как курьез, но всерьез не показываю никому, конечно. Правда войны и гибели брата самодостаточна, для меня — эпична и не нуждается в подделках.

Далее. Надо было отснять ряд сцен в доме, в котором рос и из которого ушел Миша на войну. Дом деревенский, дом, в котором я родился. Этот дом был самой обычной деревянной крестьянской хатой. Я родился, по рассказу матери, на полу, застеленном охапкой соломы. Рядом, тоже на соломе, находился теленок, которого внесли в избу, чтобы не замерз в сарае, где осталась его мать, ведь зима, март. В подпечье хрюкал поросенок, купленный загодя, чтобы к следующему новому году были

жиры. Ребенка качали в люльке, подвешенной к потолку. По центру комнаты стояла круглая железная грубка с дымоходом из жестяных труб с коленами, дым уходил в печь. И стояла колода с железной рейкой, на которой можно было делать холодную ковку, в основном «жестянку». Еще были услон (лавка, скамейка) и небольшой столик. От ковки стены и вообще все было покрыто ржавчиной.

Так вот, для съемок арендовали не что иное, как дом писателя Телешева, в центре Москвы. Купеческий дом должен был сыграть роль деревенской избы. Хотя съемки шли только изнутри, но ничего похожего на крестьянский быт не было и в помине. Кстати, фамилия Телешов звучит как теле-шоу, что хоть и делает кому-либо честь, но дополнительно подчеркивает несуразность обстановки.

А как фальшива сцена прощания! Она снята в избе. Никогда, поверьте, никогда в деревне не прощаются в избе. Прощаются со своими, отбывающими надолго — не в избе, и даже не во дворе. А все, и убывающие, и провожающие, идут долго по улице, до какого-нибудь приметного места, поворота, а то и вовсе тянутся большую часть, порой и до конца, трехкилометрового пути. Это в мирное время. А уж в войну-то, когда человек уходит на верную гибель!.. Какая фальшь в фильме! Хотя я говорил организаторам съемок: надо отъехать немного от Москвы, найти подходящую избу, там и снимать эту сцену. Но куда там!

И еще одно, казалось бы, малозаметное недоразумение, но это кому как. Вот сидит мальчик лет пяти, изображающий меня. Мальчик-артист, его зовут Антон, играет с кубиками. Перед съемками меня спросили, какие игрушки были у меня в детстве. Игрушки? Да я и слова такого не знал. Не было в деревне в то время, в войну и после, никаких игрушек. Разве недостаточно было, что мы жили и каждый элемент познаваемой жизни, каждый предмет был интересен. А впрочем, вспомнил! Когда удавалось поймать какого-либо жука, чаще всего майского, хруща, серебристопузого, его сажали в пустой спичечный коробок и прикладывали к уху — *слушали радио*. Жук в коробке скребся, усилия выбраться были напрасны, а звук был похож на неразборчивую хрипотцу радиотарелки, нам тогда уже знакомую, в сельсовете висела. А вот кубики... Это ж изделие покупное, городское, при полном безденежье крестьянским детям недоступное и неизвестное.

Ничего этого я объяснить режиссеру не сумел. Я ему годился в отцы, но возраст — слабый авторитет, если люди из разных эпох, из разных миров. Они, распорядители съемок, на меня смотрели, как на инопланетянина, что опять возвращает нас к разнице небо и земля.

...И все-таки, при всем моем ворчании, при каждом просмотре этого фильма, а называется он «Один из миллионов», <http://youtu.be/CJsmdnkfkWk>,— слезы наворачиваются на мои глаза.